18+

ЧЁРНЫЙ КРЕСТ ТАМПЛИЕРОВ

Исторический мистический роман

Дмитрий Ганин



Дмитрий Ганин
Чёрный крест Тамплиеров

https://litres.ru/74817672
ISBN 9785007158695

Аннотация

Планета Ксандрия встретила первых поселенцев тишиной. Потом оказалось, что тишина — это язык. Вся экосистема — от поющих рощ до воды, которая ждёт тысячи лет, — обладает коллективным разумом, и он ставит людям простое условие: понять или быть отвергнутыми. Командир Саша Вейль заводит словарь, которого не было ни в одной экспедиции, — и узнаёт, что планета знала её имя до того, как она его произнесла. Первый контакт, в котором чужой — не враг, а недоученный собеседник. Счёт всегда сходится.

Содержание

О книге 5
* * * 7
Глава вторая. Переписчик 17
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Чёрный крест Тамплиеров

Дмитрий Анатольевич Ганин

© Дмитрий Анатольевич Ганин, 2026

ISBN 978-5-0071-5869-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О книге

«Чёрный крест Тамплиеров» — исторический мистический роман о последнем годе великого ордена.

Франция, осень 1307 года. Через неделю после того, как по одному приказу короля Филиппа Красивого в один и тот же час схватили всех тамплиеров королевства, рыцарь Эврар де Бомон остаётся, возможно, последним свободным братом Храма. За ним идут инквизиторы, за ним идёт тьма — но больше всего он боится не погони, а того, что несёт: чёрный крест, выкованный неизвестно когда, передаваемый из рук в руки высшими рыцарями ордена, о котором даже среди братьев говорили шёпотом. Крест не даёт силы тем, кто просит. Он отвечает на вопросы — но задаёт свои. И он выбирает, кому его нести.

Чтобы спастись, Эврар должен дойти до убежища, о котором знал только магистр ордена. Чтобы понять, зачем он жив, — расшифровать предназначение креста раньше, чем инквизиция доберётся до последнего из переписчиков, хранящих тайну. А чтобы остаться человеком — разобраться, что старше: его вера, его обет или то, что шепчет крест в долгие ночи дороги.

Это книга о том, что спасение веры не равно спасению жизни, о цене тайны, которую платят те, кто её хранит, и о черте между служением и одержимостью. Исторический фон

— реальный разгром ордена Храма: аресты 13 октября 1307 года, пытки, процесс над Жаком де Моле, распад великой организации за считаные годы. Мистический слой — то, о чём молчат хроники.

* * *

Глава первая. Чёрный четверг

Тринадцатого октября семьсот седьмого года по счёту от Рождества Христова рыцарь Эврар де Бомон переплывал Сену в темноте, и вода несла его медленно, как несут тело, которое уже простили.

Он шёл на дно — сознательно, потому что живая рыба уходит в глубину, когда по берегу бегут собаки, а плавающий на поверхности человек виден издалека при любом свете. Под бронёй, под кольчугой, под рубахой, пропитанной рекой, у груди на ремне висел свёрток — продолговатый, завёрнутый в промасленную ткань, весом почти как младенец. Вода давила на свёрток с той же силой, что и на всё остальное, но Эврару всё время казалось, что он плывёт не с грузом — а на грузе, и груз держит его на плаву.

Пять дней назад он был казначеей прецептории Темпл в Труа. Пять дней назад у него были ключи от ризницы, сигил ордена на перстне и вечером — обычная трапеза, хлеб, вино, чтение из устава о смирении. В ночь на тринадцатое в двери трапезной постучали — и вошли не братья. Эврар успел только то, чему обязан был успеть: забрать свёрток из тайника под плитой часовни, задуть лампу, выйти через склеп в погреба — и уйти по воде, пока во дворе ломали дверь кухни

и кричали голосом городского прево, чтобы все братья, «в имени Отца и Сына и Святого Духа», вставали на колени.

Он не знал тогда, что то же самое происходит в этот самый час — в час полуночный, везде одинаково, — в Париже, Руане, Орлеане, в каждом доме ордена, от Фландрии до Пиренеев. Он узнал это позже, от старика-перевозчика, который переправил его через Сену за монету и полторта, не глядя ему в лицо, и сказал, глядя в воду:

— Весь Храм взяли. В один день. Как голубей накрывают сетью, — голуби и не пикнули, потому что всё случилось в одно мгновение. Королевский разослал по всему королевству, даже в самые бедные командорства, даже к прачкам, что стирают бельё братьев. Говорят — письмо каждый прево получил под печатью, с наказом: открыть не раньше, чем зарядит день.

— За что? — спросил Эврар. — За что их?

Старик посмотрел на него впервые — коротко, поверх воды, как смотрят на человека, которого лучше не знать, но уже знаешь, — и сказал:

— Ты разве не знаешь? Говорят, что каждый брат, вступая в орден, попирает крест и плюёт на образ Господень. Что брат делается с братом не по-человечески. Что они молятся идолу с кошачьей головой. — Старик перегнул вёсла. — Я их видел, этих братьев. На моём дворе в семьдесят лет подряд сворачивали постой, за постой — платили всегда, и никогда не крали. Я не знаю, что они попирают, господин, я пьяный

дурень и гребу за деньги. Но я знаю вот что: сетью не накрывают тех, кто должен ответить на деле. Сетью накрывают тех, чьё слово могут перевернуть.

И Эврар понял тогда, впервые по-настоящему, что король Филипп берёт орден не для того, чтобы судить. Судить — это потом. Сначала — взять слово. У сломленных в подвалах слово можно взять любое: признание в любом грехе, показание на любого магистра, обвинение в любой ереси. Один брат под пыткой скажет то, что нужно. Второй, услышав, что первый сказал, скажет то же самое, чтобы его не пытали. Третьего уже не будут пытать — скажет он сам. Так из четырёхсот братьев за неделю делается одно большое признание.

Так делаются тексты, на которых горят люди.

Он лежал тогда на дне лодки под брезентом, среди свежей соломы, и слушал, как над водой кричат чайки, и думал то, что не должен был бы думать брат Храма: не «спаси меня, Господи», а «спаси свёрток». И поймал себя на том, что крест — этот чёрный, холодный, лежащий под рубахой у сердца — не согрелся. Он никогда не грел. Он держал ровную температуру камня, взятого из тени, — и в этой ровности было что-то личное, почти издевательское, как у человека, который спокоен на чужих похоронах.

* * *

Он шёл на восток, потому что восток был единственным направлением, куда его не ждали.

На запад, к Нормандии и морю, инквизиция готовила за-

ставы: из портов не уйти, не будучи опознанным, а опознанный тамплиер — теперь не человек, а предмет с описанием, гербом и наградой за голову. На север шли те, кто бежал к Англии, — и именно поэтому король Эдуард уже получил просьбу «о содействии в поимке врагов веры, укрывающихся в его землях». На юг — к папе, который орден основал и который теперь его же предаст, если понадобится, — туда шли братья, ещё верившие, что Верховный Понтифик заступится. Эврар верил в заступничество понтифика так же, как верил в заступничество чайки: теоретически, в силу общего устава живых существ.

Восток был Шампанью, Бургундией, Лотарингией — землями, где у ордена было двести лет друзей, кредиторов и должников, и где магистр ордена Жак де Моле незадолго до арестов, ещё будучи свободным, сказал Эврару то, что Эврар теперь повторял себе каждый вечер, как молитву, но не молитву:

— Если не будет Храма — будет то, что ты несёшь. Неси туда, где свет. Если не найдёшь света — неси туда, где старые стены. Они дольше людей.

Эврар не знал тогда, что имел в виду магистр. Он был простым казначеем — не высшим рыцарем, не хранителем реликвий, не тем, кто посвящён в самое дно тайн ордена. Свёрток он получил не по заслугам: за три дня до арестов из Парижа в Труа приехал брат Жерар де Виллер — бледный, седой не от возраста, а от дороги, — передал ему свёрток и ска-

зал фразу, которую Эврар потом проигрывал в голове сотни раз, не находя в ней новых слов:

— Ты идёшь не потому, что ты лучше других. Ты идёшь потому, что ты скучнее всех. У тебя не было друзей, у тебя не было дурных привычек, у тебя не было женщин — и за тобой не будет следить совесть, потому что ты не помнишь ни одного греха, за который можно было бы продать крест. Иди, брат Эврар. И, прошу тебя, не разговаривай с ним. Не разговаривай с ним, пока не поймёшь, зачем он.

— С кем? — спросил Эврар.

— С крестом, — сказал брат Жерар и впервые за всё знакомство улыбнулся. — Ты же думал, что несёшь святыню. А ты несёшь собеседника.

Он ушёл в ту же ночь — назад, в Париж, к своей судьбе, и Эврар больше никогда его не видел. Позже, в списках пленных, доставленных королевскому советнику Гийому де Ногаре, Эврар найдёт его имя — в третьем десятке, между братьями-сержантами и братьями-капелланами. Но это будет потом. Пока — сейчас — Эврар шёл на восток, и в его ушах стояла фраза «не разговаривай с ним, пока не поймёшь, зачем он», и он не понимал, что страшнее в ней: предупреждение или сожаление.

* * *

На третью ночь пути он заночевал в развалинах капеллы св. Мартина — обители, брошенной лет двадцать назад, когда приход здесь вымер, и епископ Лангрский перевёл его в

более людное место. Ничего не осталось от капеллы, кроме стен без крыши, алтарного камня, выщербленного морозом, и одной уцелевшей колонны, вокруг которой выросла крапива. Эврар разжёг огонь — маленький, в углублении камня, за которым крапива дотягивалась до пояса, — поел сухаря, размоченного в дождевой воде из старой купели, и взял свёрток на колени.

Он не собирался с ним разговаривать. Он собирался пересчитать деньги — это было ремеслом казначея, ремеслом, которое не отпускает даже когда больше некому отдавать отчёт: тридцать четыре ливра турского, мешочек серебра севёрского и две золотые монеты, старые, из Аккры, с крестом на одной стороне и надписью на арабском на другой. Он выкладывал монеты на плоский камень алтаря и думал о том, что сорок ливров — это год службы сержанта, а он собирается дойти за эти деньги до земель, о которых знает только из слухов, — и тут заметил то, чего не замечал раньше, хотя держал свёрток в руках десятки раз.

Крест весил на плоском камне не так, как на весах.

Он знал вес креста: три фунта и три унции — взвешивал сам, при передаче, в ризнице труасской прецептории, на серебряных весах, которые не лгали, потому что были куплены орденом у бургундского мастера и по два раза в год проходили поверку. Три фунта три унции — столько он помнил в руке. А сейчас крест, положенный на камень, давил на камень сильнее — не настолько, чтобы можно было ошибить-

ся, но настолько, чтобы казначей заметил. Эврар выложил рядом с крестом те же три фунта в монетах. Сровнял. Приложил ладонь к обоим.

Под крестом камень был теплее.

— Ты грелся у моего сердца всю дорогу, — сказал Эврар вслух — и осёкся, потому что услышал собственный голос и понял, что это первая фраза, которую он сказал за три дня. — Не греешься. У тебя ровная температура. Ты не греешься. Ты греть…

Он остановился. За стенами капеллы, в крапиве, что-то шевельнулось — не ветер: ветер не ходит по кругу. Эврар поднял руку к мечу, не вставая, и замер, слушая. Шорох прошёл по кругу вокруг капеллы — один раз, полный, от северной стены к южной — и остановился ровно за его спиной.

— Брат Эврар, — сказали за спиной.

Не голос. Не человеческий голос. Но и не звук зверя. Что-то среднее — как звучит голос, если его произносить изнутри камня, без дыхания, просто выталкивая слова упругостью породы. Эврар обернулся — медленно, потому что быстрые движения теперь ничего не меняли: за ним, на границе света, стоял человек. Стоял — но не тем способом, каким стоят люди: он не давил на землю, вокруг его ног крапива не пригнулась. Маленького роста, в тёмном — почти одного цвета с сумерками, — с лицом, которое Эврар не смог бы описать потом, потому что лицо было похоже не на лицо, а на воспоминание о лице: скулы, подбородок, тень глазниц — и всё

на полтона неправильное, как портрет, написанный тем, кто видел модель один раз, много лет назад.

— Ты сказал вслух: «Не греешься. Ты греть…» — сказал стоящий тем же каменным бездыханным голосом. — Я закончил за тебя: «Ты греешь тех, кто спрашивает». Я не изменяю вес. Я изменяю то, как ты держишь меня. Ты держал меня как груз. Теперь ты держишь меня как брата.

Эврар не сказал ничего. Он не был глуп — он был казначеем, а казначеи доживают до старости именно потому, что умеют считать раньше, чем говорить. Он считал: инквизиция не рассылает по дорогам существо, которое не скрипит доспехами. Это не инквизиция. Это то, о чём брат Жерар предупреждал его в ту ночь: не разговаривай с ним.

— Я не разговаривал с тобой, — сказал Эврар ровно.

— Ты разговаривал со мной все три дня, — ответило существо. — Ты не говорил мне — а говорил о деньгах, о дорогах, о старике-перевозчике, о словах магистра. Всё, что человек думает, когда несёт, — он говорит тому, что несёт. Мы никогда не открывались тому, кто не разговаривал с нами хотя бы три дня молча. Ты — открылся. Я пришёл узнать, зачем ты меня несёшь.

— Затем, что мне приказали.

— Приказы не несут четыре сотни ли. — Существо наклонило голову — жест человеческий, исполненный нечеловечески точно, как скопированный без понимания. — Приказы несут неделю. Потом их несут привычка или страх. Ты

идёшь по третьей причине, брат Эврар, и она самая редкая из всех: ты идёшь, потому что не знаешь, куда ещё девать себя. Ты — последний. И последние несут не то, что им вверили. Они несут то, чем сами стали.

Огонь в углублении камня дрогнул — не от ветра: он прогнулся внутрь, как будто над ним вдохнули, — и погас. И в темноте, в темноте полной, безлунной, Эврар услышал, как существо делает шаг — но не слышит, как оно отступает, — и почувствовал на плече ладонь. Маленькую. Холодную. С искривлёнными пальцами, которых не бывает у людей.

— Спи, брат Эврар, — сказали в темноте. — Завтра ты придёшь в Дижон. И там начнётся то, ради чего я ждало тебя пятьсот лет.

И пока Эврар — не отдавая себе отчёта, подчиняясь ладони, как подчиняются гравитации, — опускался на землю, крапива под ним расступилась. Он это заметил — краем сознания, уже уходящего в сон: расступилась, как расступается вода от идущего по ней человека, но — наоборот.

И он уснул с крестом у сердца — и впервые за пять дней ему приснился не огонь под стенами, не братья на коленях во дворе, не лицо магистра.

Ему снился человек, которого он никогда не видел, — маленький, длиннорукий, стоящий в круге света посреди поля, — и человек этот смотрел на него, и рот его не шевелился, но Эврар слышал:

«Иди в Дижон. Там я покажу тебе, что такое крест. Толь-

ко помни одно, брат Эврар: то, что тебе покажут, нельзя рассказать инквизиции даже под пыткой. Особенно под пыткой. Ибо то, что в кресте, — не тайна. Тайну можно выдать. То, что в кресте, — это обещание. А обещание не выдают, брат. Обещание исполняют».

Эврар проснулся на рассвете — в чистом поле, в миле от капеллы, с крестом у сердца и с крапивой, которая росла по кругу вокруг его тела — ровно, как растёт по кругу струя воды из фонтана. И знал только одно: что бы ни ждало его в Дижоне, отступать уже поздно — не потому что путь кончился.

А потому что обещание, которое ему шептали во сне, он уже принял. Молча. Всей своей жизнью.

Глава вторая. Переписчик

Дорога в Дижон оказалась дорогой в тиранию Дня.

Эврар понял это к полудню первого дня пути: королевский приказ, отправленный по прево и бальи, работал не как погоня — как погода. Нельзя было спрятаться от погоды, от неё можно было только двигаться медленнее или быстрее, но она была везде. На каждой развилке стоял столб с прибитым свитком; на каждой заставе — дозорный с пергаментом, где перечислялись приметы: рыцарь, один, в дорожном платье, при нём меч и сумка казначея, возраст около тридцати пяти, шрам на левой брови. К вечеру второго дня Эврар знал приказ наизусть и знал то, чего приказ не содержал: в конце списка, ниже ловчего гонца, шла строка, раз отличавшая его приметы от всех прочих — «особо приметить несомый предмет: продолговатый, в промасленной материи, весом с младенца». Не «святые реликвии», не «казна ордена». Предмет. Так пишут о человеке, которого надо опознать по грузу, — и Эврар понял, что Ногаре знает о свёртке. Не всё. Но знает, что он есть, и что он на дороге.

Он переменил одежду — выменял в деревне у стирателя сукон дорожный плащ на серую коттарди вдовствующего ремесленника, спрятал меч под соломой в телеге углежога и дальше шёл пешим погонщиком чужого осла, с лицом человека, чьи мысли никогда не поднимались выше собора и ни-

когда не опускались ниже цены соли. Казначейское ремесло помогало и здесь: у него было лицо человека без биографии, потому что биография казначея — это книги учёта, а книги не носят на себе.

Двенадцать ли до Дижона он прошёл за два дня, и на второй день, у моста через Оюз у деревни Марсанне, его нагнала умирающая тайна.

* * *

Тайна лежала в придорожной канаве лицом вниз и была одета как брат-капеллан, но капелланы ордена не носили бород, а этот носил — седую, слипшуюся от крови, идущей носом. Эврар нагнулся к нему не из милосердия: он узнал одежду раньше, чем лицо, и рука его сама сделала то, что устав запрещал делать в присутствии свидетелей, — перевернул умирающего, прикрывая белое поле плаща со звеном креста ногой, как прикрывают покойника плащом от ворон.

Лицо он не знал. Но восемьдесят лет назад это лицо было одними руками — умиравший держал в руке, сжатой до посинения, свиток, и свиток был сделан из пергамента самого тонкого сорта, какой идёт только на писания, не предназначенные для чтения вслух.

— Воду, — сказал умирающий. Не «помогите», не «кто вы». Просто требование, поставленное первым, как ставят его те, у кого не осталось времени на этикет.

Эврар дал ему воды из своей фляги — речной, за полдня ставшей тёплой. Умирающий выпил полфляги, дожил ещё

четверть часа и потратил их не на исповедь — на распоряжения, потому что он был капелланом Храма, а капелланы Храма умирают как казначеи: сдавая счёт.

— Брат Ансельм из Сен-Бенина, — сказал он, между приступами кашля. — Копировщик. Тридцать один год у писанского стола. Вы — тот, кто несёт его. Я вижу, как он смотрит из-под вашего плаща. Он всегда смотрел из-под плаща — даже у магистра в столице, когда тот думал, что спит один. — Кашель согнул его пополам. — Слушайте, потому что времени у меня на всё — меньше, чем вам на перекус. В подземелье Сен-Бенина, под виноградником, третий ярус, ниша с резьбой в виде руки, — рукопись. Полная. Всё, что мы переписали за тридцать лет о том, что шепчет чёрный крест. Имена всех, кто нёс. Список тех, кто не донёс. Условия, при которых он говорит. И — то единственное, чего не знает никто из живущих, кроме меня, — чего он хочет на самом деле. Не того, что он говорит спрашивающим. Того, чего хочет.

— Кто вас так? — спросил Эврар. Это был не вопрос милосердия. Это был вопрос казначея: чтобы знать, откуда пришли за свитком, надо знать, кто ими владеет.

— Инквизиция и… другое, — сказал Ансельм. — В Дижоне, в доме против церкви Нотр-Дам, сидят люди, которые называют себя наследниками Храма. Имейте в виду: они не наследники. Они должники. Орден давал им деньги под проценты сто лет подряд — им не нужен орден, им нужен крест, потому что крест — единственная расписка, которую я не

могу подделать. — Он сжал запястье Эврара — сухой, сильной, писарской хваткой. — Если они предложат вам убежище — они предложат его вам, как предлагают его хартии: не для того, чтобы вы жили. Для того, чтобы перо написало конец страницы. Не идите в дом против Нотр-Дам. Никогда. Ни под каким предлогом. Идите в Сен-Бенин к третьему ярусу и возьмите рукопись до того, как её возьмут они. Всё остальное — потом.

— А крест? Что он такое? — спросил Эврар — и сразу пожалел: вопрос был задан из голода к знанию, а брат Жерар предупреждал, что с крестом нельзя разговаривать раньше срока. Но Ансельм не заметил нарушения — или заметил и признал законным, потому что умирающим дозволено то, чего не дозволено живым.

— Крест? — Ансельм усмехнулся кровью. — Крест — это не что. Крест — это кто. Пятьсот лет назад братья, которые его ковали… нет. Не ковали. Крест не ковали. Его договорились. Его согласовали — как согласовывают границу между королевствами. И на той стороне границы стоит кто-то, кто с тех пор ждёт, чтобы границу кто-нибудь перечертил. — Он затихал; жизнь выходила из него так же ровно, как вода из треснувшего кувшина. — И последнее, брат… как вас зовут?

— Эврар де Бомон.

— Де Бомон. Хорошая фамилия. Из Лузиньянов — плохая: они все не доживают до сорока, но красиво умирают. — Он закрыл глаза. — Вы третий, кого я вижу. Первый нёс

крест шесть лет. Второй — год. Оба спрашивали его об одном и том же, оба получили ответ — и оба ответа были правдой, и оба от неё погибли. Вы спрашиваете не так. Я слышал, как вы не спросили его в капелле, хоть он и ждал вопроса, — и это первая правильная вещь, которую делает носитель за пятьсот лет. Не спрашивайте его. Никогда. Спрашивайте его о том, кто нёс его до вас, — но не о нём. Это всё. Это весь мой счёт.

Он умер так, как умирают переписчики: аккуратно, дописав. Эврар остался с ним ещё на четверть часа — зарыл в канаве неглубоко, но так, как зарыл бы брата: лицом на восток, ладонями на груди. Свиток — Ансельм успел его и отдать — лежал теперь у него под рубахой рядом с крестом, и крест, Эврар заметил, весил в это утро ровно столько, сколько весил всегда. Как будто то, что происходило в канаве, его не касалось.

Только на всю оставшуюся дорогу до Дижона из-под плаща не переставала ощущаться на груди лёгкая тёплая тяжесть — не креста. Свитка. И Эврар, не зная ещё, что значит эта разница, шёл в неё, как идут в поднятую голову.

* * *

Сен-Бенин стоял на пригородном холме к югу от Дижона — аббатство, старое, богатое виноградниками и очень бедное людьми: после смерти аббата-предшественника братия вымерла почти вдвое, и место брата-капеллана Ансельма не было занято — это Эврар узнал у виноградаря, торговавше-

го на подступах, за монету и полкуска хлеба. Тот же виноградарь, получив вторую монету, добавил то, чего не спрашивали:

— Под землёй у них три яруса, но нижний запечатан. Отец аббат запрещал туда ходить лет тридцать как — ещё при предшественнике. А теперь никто не помнит, зачем запрещал. Такие запреты, господин, живут дольше запрета.

Эврар вошёл в аббатство с вечерней монашеской службой — не как гость: как работник, нанятый смотреть за ослом, которого на самом деле у него не было. К моменту, когда братия разошлась по кельям, он стоял в третьем ярусе подземелья, держа в руке лучину, и перед ним была ниша.

Ниша была запечатана не камнем — той же полупрозрачной, стекловатой тканью, которой мог бы закрываться вечный груз, — и Эврар, разглядев её в свете лучины, сделал то, чего не делал ни разу за одиннадцать лет казначейской службы: сел на пол, спиной к стене, и стал думать. Не потому что не знал, что делать. Потому что понимал: всё, что он сделает с этой нишей, будет сделано с ним.

Под ним, на глубине двух этажей, никого не было. Он проверил — тремя способами. Свет лучины падал на то же тёмное, чуть колышущееся стекло, каким закрывалась ниша, и в этом стекле, на границе отражения, отражалось то, чего в подземелье не было: лицо. Не его. Не Ансельма. Лицо маленькое, длиннорукое, с глазами, которые были не глазами, а двумя ямами, в которых давно выветрился дождь.

— Ты проснулся, — сказал Эврар. Не вопрос. Он был казначеем и знал, как звучат счёты, когда сходятся.

Стекло не ответило. Но подземелье отозвалось — не эхом: из глубины, из-под третьего яруса, через камень, через почву, через корни виноградника, к его костям пришёл ритм.

Пауза. Тон. Пауза. Тон. Пауза — длиннее. Тон — ниже.

Тот же, что был в капелле. Тот, что он никогда не запоминал, потому что он не нуждался в запоминании: он был в его костях с первой ночи, как подпись, поставленная до того, как подписали.

— Ты не заключён, — сказал Эврар. Он говорил с крестом — и впервые не чувствовал, что делает запретное. Он чувствовал, что делает счёт. — Тебя не держат. Тебя не запирают. Ты здесь, потому что здесь тебе назначено быть. Кто назначил — не знаю. Но я понял то, чего не понял брат Ансельм, хоть и переписал тридцать лет: ты не отвечаешь на вопросы, потому что вопросы — это способ переложить ответственность. Ты отвечаешь на обещания. Брат Ансельм дал обещание переписать. Брат Жерар — нести. Магистр — сохранить. Я — пока не дал ничего. Поэтому ты не открываешься мне. Ты ждёшь обещания, которого я ещё не дал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.